

Образная система, ритмическая организация, существование внутри рифмованного стиха — всё это у поэта Михаила Стригина увязывается оригинально и порой неожиданно в целую (и цельную!) философскую систему. Вот это вроде бы не должно удивлять: Стригин, как философ (а он философ!), великолепно представляет себе положение, почти аксиому, о том, что стихотворение есть сгущённая информация. Спрессованная, сжатая подчас до невероятной плотности интеллектуального и эмоционального вещества. Стригин к этому стремится, это видно и слышно в стихах, но делает он это (и это отраднo) не сознательно, не «по плану», а абсолютно естественно: феномен натурального рождения произведения на свет, его зачатия в любви и в тайне здесь неоспорим.

В своей новой книге «Нелинейная любовь» поэт сталкивает нас сразу с неожиданностью названия — самого символа-знака, обозначающего то, что сокрыто под обложкой. Нелинейная любовь — это, по сути, формульное обозначение нелинейного времени. По представлениям древних иудеев, время двояко. Вечное, божественное, Божие время — это «олам», огромная субстанция (нечто вроде лемовской планеты Океан в «Солярисе»), громадный котёл, и времена варятся в этом одном немислимом котле вечности. Нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего; вернее, они есть все сразу, все вместе. Есть незабываемое время, и Вселенная находится внутри него, как внутри яйца. А рядом — дискретное время, так называемое линейное. Пресловутая стрела времени. Она чётко направлена из прошлого в будущее, и на этой стреле всё уже узнаваемо, всё разложено по полочкам, всё можно вычислить — и события, и даты; невозможны только две вещи: нельзя вернуться в прошлое, и нельзя попасть в будущее. Есть, как буддисты говорят, здесь и сейчас.

Так вот, *нелинейная любовь* Стригина — это грандиозная формула поэзии: и всей поэзии в контексте истории, и конкретно стригинской. Подспудно или явно, но в книге тема времени возвращается рефреном:

Интуитивно чувствуешь, сколько прошло времени,
По привычным нюансам: по сердцебиению,
По дыханию,
По октавам сверчка, пылинки порханью.

Но внутри колыхается более тихое —
Паутинка, натянутая портнихами,
Трещинка в монолите течения,
От которой исходит глухое свечение.

Нелинейно и само пространство, где одушевляется
старый роддом, что видел на своём веку множество
вновь явившихся на свет человеческих жизней:

На впалых щеках старого роддома
Щетиной пророс многолетний мох.
Роддом до бетонных рёбер в груди усох.
Кто-то торопится, ставит диагноз — саркома,
Ему живучесть наших роддомов незнакома.
(За последним — не один ещё вздох.)

Это сопоставление, столкновение времён («ему живучесть наших роддомов незнакома...»), внутри которых здание равно человеку, боль равна судьбе, а человек, соответственно, равен, равновелик времени, одновременно настораживает, даже пугает, и вместе с тем обнадёживает: всё в мире не так примитивно и просто, как нам удобно думать.

Стригин запросто «путает» пространство и время, одушевлённость и неодушевлённость, свет и тишину, цвет и звук; у него звук может поплыть запредельной краской, а тишина обратиться то ли в ветер, то ли в свет, то ли в лёгкое дыхание:

А скорлупа становится плотнее,
Свинцом налившись в вышине.
И тишиной такой в лицо повеет,
Что солнца хочется вдвойне...

И снова время земное становится временем мифологическим, соединяются в незримом объятии привычная земля и мифологический рай, и слишком близко, слишком рядом ставит нас Стригин с мифологемой рая — отнюдь не для того, чтобы мы заново подивились старинной роскошной райской «сказке», а сполна восчувствовали настоящесть и истинность бытия, сгущённого, «залитого» внутрь древнейшего ситуативного иероглифа:

Время призадуматься—
Лист упал в раю.
Спи, родной, укутайся,
Баюшки-баю.

Пусть не обманет чуткое ухо, внимательный глаз и открытое сердце эта традиционная интонация колыбельной, ещё немного—и просто даже лермонтовской ритмики: это стихотворение—опять о времени, но здесь автор напрямую сталкивает время с вечностью:

Время тихо капает,
Плавится свеча.
Распустилась маками
Вечная печаль.

А рай здесь для того, чтобы человек, ощутивший—с болью, горечью и неизбывной печалью—свою временность, сиюминутность пребывания на земле, внезапно и бесповоротно соотнёс себя с вечностью—всё через ту же печаль, ибо, по мысли Фёдора Тютчева, вся подлинная русская поэзия печальна.

Стригин создаёт свой мир—бестрепетно повторим этот трюизм; так говорят обо всех авторах, обо всех художниках, творцах. Здесь не погресишь против истины: да, каждый человек—простите за банальность—это уникальный мир, это неповторимый Космос; и что сокрушаться, что вчера он родился, а завтра навек уйдёт? Ведь у него всё равно вечность—в хромосомах, в генах. У него в запасе та любовь, что не на фоне быта, не мечтою—в будущем, а опять в сопряжении времён, во временных неразгаданных буквицах:

Воспоминая—руны Бога—
Помогут вычитать любовь!

У Стригина в русской поэзии есть предшественники. Он не отрекается от корней. Он по-пастернаковски подробен, его тоже привлекает

«всесильный Бог деталей, всесильный Бог любви», он по-обэриутовски странен и даже парадоксален (а разве сам человек не есть парадокс нелинейного времени?); но его поэтическое мышление—это мышление поэта двадцать первого века, с его тягой к мегаодушевлению, к увеличению образных масштабов, к овеществлению и визуализации образных фракталов, к гротесковому сопоставлениям и контрастам, к ансамблю несочетаемого:

Венеция опять в предчувствии инсульта,
Как будто тромбы—толпы праздные людей.
Качает карнавал строеня, словно судна,—
Десятибалльный ежегодный шторм страстей!

Огни для праздника украли в преисподней,
Мигая, движется упавший Млечный Путь.
В канал стекает вечер, час приходит поздний,
Пандоры ящик собираясь распахнуть.

Кто же такой поэт Михаил Стригин? (Он пишет и прозу, но о его прозе разговор в другой раз.) Перед нами, это ясно, «парадоксов друг». И его поэтику нельзя с ходу обвинить в излишнем интеллектуализме.

Стригин знает цену песне и молитве, мифу и видению, традиции и обычаю. Но он несомненный новатор. Его новации плодоносны. Они идут не только и не столько от его духовных и интеллектуальных поисков (а это есть: куда же он убежит от себя—философа?..), но и от утонченности эстетике, и от истинности и искренности чувства, над которым так часто смеялись в ушедшем веке, к примеру, иронисты и постмодернисты. Он не забывает: искусство—это чувство. Да будет и дальше так.

Поэтому пусть будет—здесь и сейчас, внутри уходящего мгновенья,—у читателя *нелинейное постижение* стригинских любви и трагедии, печали и обречённости, надежды и упрямства, хаоса и Космоса.